

Норберт Элиас

## ОТНОШЕНИЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ: ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ

*Norbert Elias. Wandlungen in der Einstellung zu den Beziehungen von Mann und Frau. In: Elias N. Über den Prozeß der Zivilisation. Bern: Verlag Franke AG, 1969, S.230–263.*

Перевод к.ф.н. А.Ф.Филиппова

1. Ощущение стыда, сопровождающее сексуальные отношения людей, весьма усилилось и изменилось в процессе [движения] цивилизации [Prozeß der Zivilisation]<sup>1</sup>. Это изменение наиболее ясно проявляется в тех трудностях, которые испытывают на более поздних этапах движения цивилизации взрослые, когда им приходится говорить на эту тему со своими детьми. Но сегодня такие трудности представляются чем-то чуть ли не естественным. Уже по причинам биологическим (хотя не совсем исключаются и другие) нам кажется вполне понятным, что ребенок ничего не знает о взаимоотношениях

<sup>1</sup> “Подавляются ли врожденные тенденции, сублимируются ли они или им предоставляется совершенная свобода – это зависит во многом от типа семейной жизни и традиции большого общества... Рассмотрим, например, сложности в определении отношения к инцесту: основано оно на инстинкте или на высвобождении генетических факторов, лежащих в основе различных форм сексуальной ревности? Короче говоря, врожденные тенденции обладают определенной пластичностью, а способ их выражения, подавления или сублимации в разной степени социально обусловлен” (Ginsberg, 1934, p.118).

В нашем исследовании мы приходим к весьма близким выводам. Мы стараемся [...] показать, что моделирование жизни влечений, в том числе и принудительная их конфигурация, – это функция общественных зависимостей или обусловленностей [Angewiesenhheiten], проходящих через всю жизнь человека. Какова иерархия человеческих отношений, такова и структура этих зависимостей и обусловленностей индивида – всякий раз иная. Структурным различиям соответствуют и различия в иерархии влечений, которые мы можем наблюдать в истории.

Напомним, кстати, что сходные наблюдения высказаны еще Монтенем в его “Опытах” (Монтень, 1979, кн. I, гл. XXIII). [...]

Вряд ли стоит здесь говорить об этом подробно, но все же следует отметить, сколь многим наше исследование обязано Фрейдю и психоаналитической школе. Эта связь очевидна всякому, кто знаком с работами психоаналитиков. Мне казалось ненужным давать такие отсылки главным образом потому, что тогда невозможно было бы обойтись и без критического обсуждения. Весьма значительные различия между подходом Фрейда и моим подходом здесь также не эксплицированы. Мне казалось, что важнее ясно и наглядно выстроить все здание моих идей, нежели ввязываться в дискуссию.

полов, а просвещение подростков в отношении их самих и того, что вокруг них происходит, – задача чрезвычайно деликатная и сложная. Сколь мало она самоочевидна, в сколь значительной мере и она является результатом процесса [движения] цивилизации, понимаешь только тогда, когда начинаешь рассматривать соответствующее поведение людей на другом этапе этого процесса. Хорошей иллюстрацией служит судьба известных “Colloquia” (“Разговоров запросто”) Эразма Роттердамского.

Эразм обнаружил, что одно из его юношеских сочинений напечатано без его разрешения в искаженном виде, с посторонними дополнениями и частично [переписано] плохим стилем. В 1522 г. Эразм сам выпускает его в переработанном виде под новым названием: “Familiarum Colloquiorum Formulae non tantum ad linguam puerilem expoliandam, *verum etiam ad vitam instituendam*”<sup>\*</sup>.

Он продолжал работу над этим сочинением почти до самой смерти, дополняя и исправляя его. Наконец оно стало соответствовать замыслу автора, желавшего создать книгу, которая бы не только учила мальчиков хорошему латинскому стилю и помогла совершенствоваться в языке, но и знакомила их, как пишет Эразм в заглавии, с жизнью. “Colloquia” стали одной из самых знаменитых и распространенных книг своего времени. Как позже его работа “De civilitate potum puerilium”<sup>\*\*</sup>, так и “Colloquia” неоднократно переводились и переиздавались. Обе книги стали учебниками, образцовыми сочинениями для воспитания мальчиков.

Едва ли что-нибудь еще может столь же непосредственно и наглядно продемонстрировать, как изменялось западное общество, следуя по пути цивилизации, чем та критика, какой подверглось это сочинение в XIX в. со стороны тех, кому вообще еще было до него дело. Например, один из самых влиятельных немецких педагогов, Ф. фон Раумер, так пишет в своей “Истории педагогики”:

“Как только можно было вводить эту книгу [для изучения] во множестве школ! Зачем мальчикам эти сатиры? Реформы – дело зрелых мужей. А мальчикам зачем беседы о столь многих предметах, в которых они ничего не понимали, где высмеивались учителя; зачем им разговоры двух женщин об их мужьях, ухажера с девушкой, руки которой он добивается, зачем им разговор «Adolescentis et Scorti»<sup>\*\*\*</sup>. Этот последний разговор напоминает о двустии Шиллера, озаглавленном «Уловка»: «Хочешь понравиться сразу ты миру и благочестивым – // Изобрази сладострастье, к нему ж дьявола ты пририсуй».

Эразм самым пошлым образом рисует здесь сладострастие, добавляя затем нечто, призванное быть душеспасительным. И такую кни-

\* “Формулы дружеских разговоров не только для шлифовки речи отроков, но также и для устройства жизни” (лат.). – Прим. пер.

\*\* “Об учтивости отроков” (лат.). – Прим. пер.

\*\*\* “Юноша и распутница” (лат.). – Прим. пер.

гу доктор богословия рекомендует восьмилетнему мальчику, дабы тот мог стать лучше благодаря ее изучению” (Raumer, 1857, S.110).

Действительно, Эразм посвятил эту работу маленькому сыну своего издателя, который явно безо всякого стеснения ее напечатал.

**2.** Книга была сразу же подвергнута жесткой критике, которая, однако, лишь в небольшой степени касалась нравственных моментов. Прежде всего, это критика, адресованная “умнику”, человеку, который не был ни правоверным протестантом, ни правоверным католиком. Против “Colloquia” выступила прежде всего католическая церковь, ибо в них содержались, конечно, отдельные серьезные нападки на церковные ордены и институты, и в скором времени “Разговоры” были включены в перечень запрещенных книг.

С этим контрастирует исключительный успех книги, выразившийся прежде всего в том, что она была принята в качестве школьного учебника. “Начиная с 1526 г.,– пишет Хейзинга,– на протяжении двух столетий почти не прекращался поток переизданий и переводов” (Huizinga, 1924, p.199).

Итак, в этот период работа Эразма оставалась, видимо, своего рода образцовым сочинением для весьма значительного числа людей. Как же следует толковать различие между ее пониманием этими людьми и взглядами на нее критиков XIX в.?

В самом деле, Эразм пишет в своем сочинении о многих вещах, которые в процессе [движения] цивилизации все больше выводились из поля зрения детей и которые в XIX в. ни при каких обстоятельствах (в отличие от того, чего желал сам Эразм и что он недвусмысленно подтвердил, посвящая свой труд шести- или восьмилетнему крестнику) не могли стать предметом изучения для мальчиков. Эразм выводит здесь, как подчеркивает его критик в XIX в., молодого человека, который домогается девушки. Он и вправду показывает женщину, которая жалуется на плохое поведение своего мужа. В этом сочинении действительно есть разговор молодого человека с распутницей.

Однако эти разговоры в не меньшей мере, чем “De civilitate morum”, свидетельствуют о деликатности Эразма при рассмотрении всех вопросов регулирования сексуального поведения, хотя они и не вполне отвечают нашему нынешнему стандарту. Анализ стандартов мирского общества в средние века и даже во времена Эразма позволяет зафиксировать последующий мощный сдвиг в направлении сдерживания влечений, получившего в XIX в. моральное обоснование.

Конечно, молодой человек, который в разговоре “Proci et puellae”<sup>\*</sup> домогается девушки, говорит весьма откровенно, чего от нее хочет. Он выражает свою любовь. Она противится, и он говорит, что она отняла душу у его тела. Он считает, что делать детей – вещь разрешенная и хорошая. Он рассказывает ей, как это будет прекрасно,

<sup>\*</sup> “Жених и девушка” (лат.).– Прим. пер.

когда они, словно король с королевой, будут царствовать над своими детьми и слугами. И это очень ясно показывает, что меньшая психологическая дистанция между взрослыми и детьми весьма часто сопутствовала большей социальной дистанции. Наконец девушка соглашается стать его женой, однако говорит, что намерена блюсти свою девственность, сохранить ее до свадьбы. Она отказывает ему даже в поцелуе. А поскольку он не оставляет ее своими просьбами, она, смеясь, отвечает, что если у него и впрямь душа уже наполовину покинула тело, то она боится, как бы поцелуем не отнять ее совсем и не умертвить его окончательно.

**3.** Как мы уже сказали, Эразм даже при жизни то и дело подвергался критике со стороны церкви за “безнравственность” “Разговоров”. Однако из этого не должны следовать ложные заключения относительно фактически существовавших стандартов, особенно мирского общества. Последовательно католическое сочинение, направленное против “Разговоров”, о котором речь пойдет ниже, ничуть не отличается от них непосредственностью, с которой там говорится о вопросах пола. Автор этого сочинения тоже был гуманистом. Именно в этом и состоит новизна: работы гуманистов, в особенности Эразма, написаны не по стандарту общества клириков, но по стандарту мирского общества и как образец для него.

Гуманисты были представителями движения, которое стремилось освободить латинский язык от его обособленности и ограниченности рамками церковной традиции и распространить его за пределы церковных кругов, сделать его языком мирского общества, по крайней мере его высших слоев. И отнюдь в не меньшей степени характеризует изменения в строении западного общества то, что в миру усилилась потребность в мирской же книжной мудрости. Именно гуманисты ответили на эту потребность высшего мирского слоя. В их сочинениях письменный текст вновь сближается с мирской общественной жизнью; ее события получают непосредственный доступ в литературу – это тоже одна из линий в великом движении “цивилизации”. Именно здесь следует искать ключ к пониманию смысла “возрождения” античности.

Эразм точно описал этот процесс именно в связи с защитой “Разговоров”. “Как Сократ свел философию с небес на землю, так я привел ее на игрища и пиршества”, – указывает он в замечаниях “De utilitate Colloquiorum”\*, которые затем издает в приложении к “Разговорам” (см. издание 1655 г., с.668)\*\*.

Вот почему эту литературу (если рассматривать ее под нужным углом зрения) можно считать отражением мирского стандарта обще-

\* “О пользе «Разговоров»” (лат.). – *Прим. пер.*

\*\* Элиас, как правило, приводит латинский текст, а затем дает свой перевод, не всегда полный и точный. Здесь и далее мы опускаем латинский текст, если за ним следует немецкий перевод. Немногочисленные различия в немецком и русском переводах не оговариваются. – *Прим. пер.*

ственного поведения, хотя некоторые содержащиеся в ней требования (о сдерживании влечений, об умеренности поведения) выходят за рамки этого стандарта и, предвосхищая будущее, выглядят идеалом [Wunschbild].

“Я хочу,— пишет Эразм в «De utilitate Colloquiorum» в связи с изложенным выше диалогом «Proci et puellae»,— чтобы все женихи были бы такими же, как тот, которого я описываю, и чтобы они вступали в брак только с такими разговорами”.

То, что кажется наблюдателю в XIX в. “самым низким изображением сладострастия”, что, по современному стандарту стыдливости, в особенности по отношению к детям, безусловно, должно быть покрыто “завесой молчания”,— для Эразма и его современников, помогавших распространять это сочинение, было образцом диалога, наглядно демонстрирующего подросткам модель [поведения]. А если сравнить диалоги Эразма с тем, что происходило в реальной жизни, то можно с достаточными основаниями рассматривать их как идеал (см. Huizinga, 1924, p.200. [...]).

4. То же самое можно отнести и к другим диалогам, которые упоминает фон Раумер. Женщине, которая жалуется на своего мужа, дается совет самой изменить поведение, тогда и поведение мужа изменится. А разговор юноши с распутницей завершается ее отказом от дурного образа жизни.

Надо прочесть самому, чтобы понять, что именно Эразм хочет продемонстрировать мальчикам как модель [поведения]. Девушка Лукреция долго не видела молодого Софрония. И она торопит его сделать то, ради чего он и пришел в публичный дом. Он же спрашивает, уверена ли она, что их никто не увидит, нет ли у нее более укромной комнаты. А когда она приводит его в более укромную, у него снова возникают сомнения: действительно ли она уверена, что их никто не сможет увидеть?

“Софроний. Нет, это место мне кажется все еще недостаточно укромным.

Лукреция. Откуда вдруг такая застенчивость? Есть у меня покойчик,— я держу там свои наряды,— до того темный, что я едва разгляжу тебя, а ты — меня.

Софроний. Посмотри, нет ли где щелки.

Лукреция. Ни одной.

Софроний. Нет никого поблизости, кто бы мог подслушать?

Лукреция. Даже муха нас не услышит, светик мой. Что же ты медлишь?

Софроний. А от божьих очей мы здесь укроемся?

Лукреция. Никоим образом! Бог все видит.

Софроний. А от ангельских?”\*

---

\* В оригинале текст дан по-латыни. Мы приводим его в переводе С.Маркиша с незначительным изменением по изданию: Эразм Роттердамский, 1969, с.203. Опущены несколько следующих фраз, в которых Элиас

[...] И тут он начинает наставлять ее на путь добродетели, используя все приемы диалектики. Много ли у нее врагов, спрашивает он, не доставит ли ей удовольствие рассердить их? Не рассердит ли она врагов, если откажется от жизни в этом доме и станет почтенной женщиной? И наконец он ее убеждает. Он тайно снимет для нее комнату у приличной женщины, он найдет повод, чтобы тайно увести ее из этого дома, и на первых порах о ней позаботится.

Сколь “аморальным” ни казалось бы изображение такой ситуации, да еще в “детской книге”, наблюдателю позднейшей эпохи, нетрудно понять, что с точки зрения иного общественного стандарта и другого моделирования аффектов это могло казаться в высшей степени “моральным” и образцовым.

Ту же самую линию развития, то же самое различие стандартов можно продемонстрировать на многих других примерах. Наблюдатель в XIX в., а отчасти и в XX в. взирает на такие модели и предписания поведения с известной долей беспомощности. И действительно, до тех пор, пока собственный порог стыдливости [Peinlichkeitsschwelle] и собственное моделирование аффектов понимаются не как что-то ставшее и – в некотором определенном порядке – находящееся в постоянном становлении, а воспринимаются с точки зрения современного стандарта, остается непостижимым, как могли такие разговоры войти в учебник и даже быть специально предназначены для детского чтения. Но в этом-то все и дело: надо понять свой собственный стандарт, в том числе и свое поведение по отношению к детям, как нечто ставшее.

Мужи более правоверные, нежели Эразм, делали то же самое, что и он. В качестве замены сомнительных, т.е. еретичных, по его мнению, “Colloquia”, один последовательный католик предложил другие диалоги: “Johannis Morisoti medici Colloquiorum libri quattuor, ad Constantinem filium”<sup>2</sup>. (Они также предназначались для школьного воспитания мальчиков; их автор Моризот считал, что, когда дело касается Эразмовых “Разговоров”, зачастую неясно, “говорит ли здесь христианин или еретик”.) При оценке этого антиэразмовского произведения, вышедшего из лагеря последовательных католиков, обнаруживается аналогичное явление<sup>2</sup>. Достаточно привести оценку, высказанную Бемером в 1911 г.: “У Моризота девочки, девушки и

---

передает содержание этого фрагмента, а также его примечание к одному латинскому термину. – *Прим. пер.*

<sup>2</sup> Беспомощность позднейшего наблюдателя велика, если он обнаруживает, что нравы и обычаи прежней эпохи выражают иной стандарт чувства стыда. Это в первую очередь относится к средневековым нравам, связанным с купанием. В XIX в. совершенно непонятно, как это люди средневековья не стыдились купаться обнаженными при большом стечении народа, причем нередко оба пола совместно (см. Schultz, 1892, S.68–69). [...] Ср. с чисто предметной и просто констатирующей позицией относительно этих различий стандарта в: Allen, 1914, p.204ff.

женщины играют еще большую роль, чем у Эразма. Во множестве диалогов только им и дается слово, а их беседы, которые уже в первой и второй книге отнюдь не всегда невинны, в двух последних книгах<sup>3</sup> вращаются вокруг предметов столь искусительных, что мы можем только покачать головой, задавая себе вопрос: неужели суровый Моризот написал это для своего сына? Мог ли он быть вполне уверен в том, что сын его действительно прочтет и изучит две последние книги лишь в том возрасте, для которого они предназначены? Причем не следует, конечно, забывать о том, что XVI в. был не так уж стыдлив, что у школьников в учебниках оказывалось немало фраз, по поводу которых наши педагоги могли бы только воскликнуть: «Благодарю покорно!»

Вот еще что. Как предполагал Моризот применять такие диалоги на практике? Ведь мальчики, юноши, зрелые мужи и старики никогда не смогли бы употребить такой диалог в качестве образца для разговора по-латыни, поскольку слово в нем дается только женщинам. То есть и Моризот, подобно поносимому им Эразму, выпустил из поля зрения дидактическую цель книги” (Beumer, 1911, S.32).

На поставленный Бемером вопрос не так трудно ответить.

**5.** Сам Эразм никогда не “выпускал из поля зрения дидактическую цель”. Его комментарии “De utilitate Colloquiorum” показывают это совершенно однозначно. Там он говорит “*expressis verbis*”, какую именно цель он преследовал каждым из своих “разговоров”, точнее, что хотел продемонстрировать молодому человеку. Например, по поводу диалога юноши и распутницы он пишет: “Что бы я мог сказать более действенное, дабы вложить в души юношей стремление быть целомудренными, а продажных девиц вызволить из состояния столь же опасного, сколь и постыдного?”

Нет, он никогда не терял из виду педагогической цели, только стандарты чувства стыда у него другие. Он хотел показать молодому человеку мир, как в зеркале, научить, чего следует избегать, рассказать, что дает мирная жизнь: “Сколь многое словно бы в зеркале изображено в стариковской беседе, то, чего следует в жизни избегать или же то, что делает жизнь спокойной”.

Те же намерения лежат и в основе сочинения Моризота; такая же установка была свойственна многим дидактическим сочинениям того времени. Их целью было “вести мальчиков в жизнь”, как говорил Эразм<sup>4</sup>. А под этим, несомненно, понималась жизнь взрослых. В после-

<sup>3</sup> Бемер здесь пишет: “В двух последних, предназначенных для зрелых мужей и стариков, книгах”. Однако Моризот посвятил своему юному сыну всю книгу, она вся замышлялась как школьный учебник. [...]

<sup>4</sup> Для понимания этого немаловажно, что возраст вступления в брак был тогда более ранним, чем в XIX в.

“В это время,— говорит Р.Кебнер о конце средневековья,— мужчина и женщина часто вступают в брак очень юными. Церковь дает им право жениться по

дующую эпоху распространилась тенденция говорить и показывать детям, как они должны и как не должны себя вести. Здесь же им показывают, как должны и как не должны вести себя взрослые. В этом и состоит различие. И люди вели себя в одном случае так, а в другом иначе отнюдь не в силу теоретических рефлексий. Для Эразма и его современников считалось само собой разумеющимся говорить с детьми таким образом. В те времена дети, даже находившиеся в услужении, очень рано начинали жить в том же самом социальном пространстве, что и взрослые, а взрослые и в своем сексуальном поведении, и в разговорах не были столь сдержанны, как в последующую эпоху. Индивиды по-другому сдерживали аффекты – это явилось продуктом иного социального устройства. Самим взрослым было совершенно чуждо представление об укромности, интимизации, изоляции при выражении этих влечений, они не прятали их ни друг от друга, ни от детей. И все это с самого начала уменьшало дистанцию между стандартами поведения и аффектами взрослых и детей.

Вновь и вновь обнаруживается, сколь важно для понимания более ранней и нашей собственной психической конституции детальное рассмотрение того, как увеличивалась эта дистанция, как постепенно образовывалось то особое пространство, в котором люди стали проводить первые 12, затем 15, а теперь уже почти 20 лет жизни. Биологическое развитие человека происходило в прежние времена почти так же, как теперь. Лишь в связи с общественными изменениями мы можем сделать более доступной нашему пониманию всю проблематику “взрослости” в ее нынешнем виде, а вместе с ней и такие вопросы, как “инфантилизм” в душевной организации взрослых. Более заметное различие между одеждой детей и одеждой взрослых в наши дни является лишь наглядным выражением произошедших изменений. Во времена Эразма, да и еще очень долго впоследствии это различие было минимальным.

**6.** Современного наблюдателя поражает, что Эразм в своих “Colloquia” вообще говорит ребенку о распутницах и домах терпимости. На нашей стадии цивилизации человеку кажется в принципе аморальным обращать внимание на такие институты в школьном учебнике. Конечно, как анклавы они существуют и в обществе XIX–XX вв. Но та стыдливость, с какой укрывают от детей сексуальную (как и многие другие) область влечений, та “завеса молчания”, какой окружают ее в социальном общении, по существу, совершенно непроницаема. В социальном общении непозволительно даже упоминать об этой сфере жизни и со-

---

достижении половой зрелости, и они часто пользуются этим правом. Мальчики женятся в возрасте от 15 до 19 лет, девочки выходят замуж в возрасте от 13 до 15 лет. Такой обычай всегда считался характерной приметой того общества” (Köbner, 1911). См. также множество сообщений и материалов о браках детей. В качестве возможного возраста для заключения брака указывается для мальчиков 14 лет, для девочек – 12 лет (Furnivall, 1897, p.XIX).



ответствующих институтах, а указывать на них в общении с детьми – это преступление, растление детской души, во всяком случае, грубейшая ошибка в кондиционировании\*.

А во времена Эразма считалось само собой разумеющимся, чтобы дети знали о существовании таких институтов. Никто от них этого не скрывал. Конечно, их предостерегали. Именно это и делает Эразм. Если читать только педагогические сочинения того времени, то упоминание таких общественных институтов может показаться прихотью отдельных авторов. Однако если посмотреть, как действительно жили дети и взрослые и сколь прозрачна была завеса укромности у самих взрослых, а значит, и в общении взрослых и детей, легко понять, что такие диалоги, как у Эразма и Моризота, непосредственно соотносились со стандартом той эпохи. С тем, что дети обо всем этом знают, приходилось считаться; это подразумевалось само собой. Задача воспитателя состояла в том, чтобы показать им, как следует вести себя в отношении таких институтов.

Пожалуй, не стоит даже и упоминать о том, что в университетах про такие дома говорилось совершенно открыто; причем в университеты тогда поступали в куда более юном, нежели теперь, возрасте. Хорошей иллюстрацией для данной главы может послужить то, что даже в произносимых в университетах публичных шуточных речах распутницы были темой для обсуждения. Так, в 1500 г. один магистр в Гейдельберге произнес публичную речь “De fide meretricum in suos amatores”, другой – “De fide concubinarum”, третий – “О монополии свинячьей гильдии, или De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda”\*\* (Zarncke, 1857, S.49ff). Аналогичный феномен обнаруживается и во многих проповедях того времени. Ничто не указывает на то, что дети не были к ним допущены. Конечно, в церковных и во многих мирских кругах эта форма внесемейных связей определенно не вызывала одобрения, однако общественный запрет еще не был запечатлен в душах индивидов как добровольное самоограничение, позволяющее говорить о подобных вещах публично лишь с огромным смущением; еще не подвергалось осуждению любое высказывание, показывающее, что человек вообще об этом что-то ведает.

Различие станет еще яснее, если принять во внимание положение продажных женщин в средневековых городах. Они занимали совершенно определенное место в общественной жизни, что и поныне характерно для многих неевропейских обществ. В некоторых городах они бегали наперегонки по праздничным дням (Bauer, 1924, S.136).

---

\* Элиас здесь и далее часто употребляет слово “Konditionierung”, которое означает: 1) доведение какого-либо продукта до необходимых кондиций, 2) приведение, например, спортсмена в должную физическую форму. Не найдя подходящего аналога на русском, мы даем простую кальку.– *Прим. пер.*

\*\* “О доверии блудниц своим любовникам”; “О взаимном доверии сожителей”, “О происхождении пьяниц и пьянства” (лат.).– *Прим. пер.*

Часто их предлагали высоким гостям. Например, в протоколах городских расходов Вены в 1438 г. говорится о 12 восьмериках вина для публичных женщин и таком же количестве вина для женщин, посылаемых к королю\* (Rudeck, 1897, S.33). Или же бургомистр и магистрат на общественный счет оплачивают посещение высокими гостями борделя. Император Сигизмунд публично благодарит в 1434 г. Бернский городской магистрат за то, что ему и его свите на три дня был бесплатно предоставлен бордель (Rudeck, 1897, S.33). Наряду с угощением это входило в понятие гостеприимства, оказываемого высоким гостям.

Продажные женщины, или, как их часто называют в Германии, “красотки”, или “милашки”, образуют в городе, как и всякая иная профессиональная категория, корпорацию с определенными правами и обязанностями. И, подобно любой профессиональной группе, они защищаются от недобросовестной конкуренции. Например, в 1500 г. несколько таких женщин в одном немецком городе жалуются бургомистру на другой дом, в котором тайно происходит то, на что только их дом имеет публичное право. Бургомистр дает им разрешение вторгнуться в тот дом; не мешкая, они крушат там все и вся и избивают хозяйку. А в другой раз они вытаскивают конкурентку из ее дома и заставляют жить в своем.

Одним словом, их социальное положение можно сравнить с положением палача: оно было низким и презренным, но вполне публичным и отнюдь не окруженным таинственностью. Эта форма внебрачных отношений между мужчиной и женщиной тоже еще не была “задвинута за кулисы”.

**7.** До известной степени то же самое можно сказать и об отношениях полов вообще, в том числе и внутри семьи. Некоторое понятие об этом дают, в частности, свадебные обычаи. Шествие в брачные покои возглавляли шаферы и подружки. Подружки раздевали новобрачную, она должна была снять все украшения. Чтобы брак считался состоявшимся, взойти на брачное ложе следовало в присутствии свидетелей. Новобрачных “клали вместе” (Schäfer, 1891, S.31). “Коли ты взошел на ложе, так обрел и право тоже”, – говорили в те времена. В эпоху позднего средневековья обычай постепенно изменился: теперь уже новобрачные могли возлечь одетыми. Конечно, в различных социальных слоях и в разных странах эти обычаи не совсем одинаковы. Однако, например, в Любеке старинные традиции сохранялись вплоть до первой декады XVII в. (Rudeck, 1897, S.319). Еще в придворно-абсолютистском обществе Франции жениха и невесту сопровождали к постели гости, они раздевались и им подавали сорочку. Все это – свидетельства иного стандарта стыдливости в сфере отношений полов. Благодаря этим примерам лучше понима-

---

\* В оригинале – труднопереводимая буквально цитата на одном из старонемецких диалектов. – *Прим. пер.*

ещь специфику стандарта стыдливости, который постепенно становится преобладающим в XIX–XX вв. В этот период даже среди взрослых все, что касается сексуальной жизни, начинает все больше скрываться и “уводиться за кулисы”. Поэтому становится и возможно, и необходимо достаточно долго с большим или меньшим успехом прятать от детей эту сторону жизни. На предшествующих этапах [движения цивилизации] отношения полов и сопутствующие институты были гораздо сильнее встроены в публичную жизнь. Поэтому самоочевидно, что дети в те времена с малолетства были хорошо знакомы с данной стороной жизни. Даже для кондиционирования (т.е. приведения их в соответствие со взрослыми стандартами) не было необходимости нагружать эту сферу жизни таинственностью и разными табу в той мере, как это стало требоваться на позднейшей фазе цивилизации в силу установления иного поведенческого стандарта.

Конечно, в придворно-аристократическом обществе сексуальная жизнь была уже значительно более потаенной, чем в средневековом. То, что наблюдателем, принадлежащим к буржуазно-индустриальному обществу, часто воспринимается как “фривольность” общества придворного, есть не что иное, как сдвиг в сторону потаенности. Однако по стандартам регуляции влечений, характерным для буржуазного общества, сокрытие, замалчивание [Einklammerung] сексуальности в социальном общении, а равно и в сознании, на этом этапе еще относительно невелико. Здесь надо иметь в виду то, что суждения, выносимые на более позднем этапе, весьма часто оказываются ложными, ибо различные стандарты не рассматриваются как взаимообуславливающие моменты некоторого движения, но противопоставляются друг другу как нечто абсолютное, причем собственный стандарт избирается как масштаб [оценки] всех остальных.

Относительной откровенности, с какой взрослые говорили о естественных функциях, соответствовала большая непосредственность их речей и поведения в общении с детьми. Тому можно найти множество примеров. Возьмем самый наглядный. В XVII в. при дворе живет шестилетняя девица де Буйон. Придворные дамы заходят к ней и ведут беседы, а однажды, желая подшутить, они пытаются убедить девочку, будто она беременна. Малютка оспаривает это. Она защищается. “Это абсолютно невозможно”, – говорит она, и аргументы сыплются с обеих сторон.

Но однажды, проснувшись, она обнаруживает в своей постели новорожденного ребенка. Девочка удивлена; со свойственной ей невинностью она произносит: “Итак, это случилось только с Пресвятой Девой и со мною: ведь у меня совсем не было болей”. Ее слова облетают двор, и теперь это дельце становится времяпрепровождением придворных. Ребенку наносят визиты, как это принято в таких случаях. Сама королева приходит к ней, дабы утешить и предложить себя в качестве крепкой для новорожденного. Игра продолжается: подле девицы толпят-

ся, задают вопросы, интересуются, кто же, собственно, отец ребенка. Наконец, после усиленных раздумий, малютка приходит к некоторым выводам. “Это мог быть, – говорит она, – только король или граф де Гиш: из мужчин только они меня целовали” (Laborde, 1816, п.522.). Никто не находит в шутке ничего особенного. Она вполне вписывается в рамки [тогдашних] стандартов. Никто не усматривает опасности в приспособлении ребенка к таким стандартам, угрозы для чистоты ее души, и явно никто не считает, что эта шутка противоречит религиозному воспитанию ребенка.

**8.** Отношение к сексуальности, обремененное чувствами стыда и неловкости, а вместе с тем и соответствующая сдержанность поведения распространялись в обществе очень постепенно и не всегда равномерно. И лишь тогда, когда возникает дистанция между взрослыми и детьми, становится “больным местом” то, что мы называем “половым просвещением”.

Выше я цитировал критику “Colloquia” Эразма со стороны известного педагога фон Раумера. Эта линия развития предстает еще более наглядно, если мы посмотрим, как сам Раумер рассматривал проблему полового воспитания, приспособления ребенка к стандартам *современного ему* общества. В 1857 г. фон Раумер выпустил небольшое сочинение “Воспитание девиц”. То, что он там предписывает как образцовое поведение взрослых, сталкивающихся с вопросами детей о сексе, конечно, не единственно возможная форма поведения в его время, однако в высшей степени соответствующая стандартам XIX в., причем не только при половом просвещении девочек, но и мальчиков (обширная цитата из сочинения фон Раумера приводится с сокращениями).

“Некоторые матери, – говорится в его работе, – держатся того (на мой взгляд, глубоко ошибочного) мнения, что дочерям нужно позволять совать свой нос во все дела семьи, даже в отношения полов, и в определенной мере посвящать их в то, что им предстоит, если они когда-нибудь выйдут замуж. [...] Другие матери, напротив, не знают меры, придерживаясь противоположной точки зрения, и рассказывают маленьким девочкам об этих вещах такое, что обнаружит свою полную несостоятельность, как только те подрастут. Как и во всех подобных случаях, такое поведение предосудительно. *Не надо вообще касаться этих вопросов в присутствии детей*, особенно так таинственно, что это только разжигает их любопытство. Пусть дети верят – пока верят, – что маленьких детей матери приносит ангел: эта распространенная сказка лучше, чем привычный для некоторых мест рассказ об аисте. [...] И если потом девочки спросят, как же это получается с маленькими детьми, то надо ответить, что Господь дает маме ребеночка, у которого есть свой ангел-хранитель на небесах, и, когда у нас случилась эта большая радость, он, безусловно, незримо при том присутствовал. Как Господь дает детей – этого тебе знать не нужно, и понять это ты тоже не можешь. [...] Матери... следует только раз серьезно сказать: «Ничего

хорошего не будет, если ты об этом узнаешь, тебе надо стараться не слушать такие разговоры». И по-настоящему нравственно воспитанная девочка будет тогда чувствовать робость, боясь услышать разговоры о такого рода вещах» (Raumer, 1857, S.72).

Итак, две разные манеры обсуждения сексуальных отношений, представленные, с одной стороны, Эразмом, а с другой – фон Раумером, образуют крайние точки цивилизационной кривой, подобно тому, как это было показано в предшествующих главах применительно к другим выражениям влечений. Так же и сексуальность в процессе [движения] цивилизации все больше и больше “уводится за кулисы” общественной жизни и как бы заключается в некотором анклав, малой семье. Соответственно в сознании заключаются в скобки, обносятся стеной, “уводятся за кулисы” отношения между полами. Аура неловкости, выражение социогенного страха обволакивает эти сферы человеческой жизни. Даже между собой взрослые говорят о них с известной осторожностью и весьма описательно. А с детьми, особенно с девочками, если возможно, об этом не говорят вовсе. Раумер не обосновывает, почему не следует говорить об этом с детьми. Он мог бы, пожалуй, сказать, что хорошо сохранять душевную чистоту девочек, покуда возможно. Но и такое обоснование – опять-таки лишь выражение того, насколько в то время были перенасыщены эти порывы чувствами стыда и неловкости. Насколько самоочевидной была приемлемость разговоров об этих вопросах в эпоху Эразма, настолько самоочевидной стала неловкость какого бы то ни было их обсуждения теперь. И то, что оба, Эразм и Раумер, призванные свидетельствовать каждый о своем времени, были по-настоящему глубоко верующими людьми, что оба ссылались на Бога, только подчеркивает их различие.

За стремлением Раумера задать образец поведения нет – и это очевидно – “рациональных” мотивов. С рациональной точки зрения, стоявшая перед ним проблема не была решена, а то, что он говорит, – противоречиво. Он не объясняет, как и когда, собственно, должна юная девушка готовиться к пониманию того, что с ней происходит и будет происходить. На переднем плане – необходимость культивировать “робость перед такими вещами”, т.е. чувства стыда, страха, неловкости и вины, или, говоря точнее, такое поведение, которое соответствует общественному стандарту. Чувствуется, сколь бесконечно трудно самому воспитателю преодолеть стыд и неловкость, которыми обременена для него вся эта сфера. Здесь есть и что-то от глубокой беспомощности, в которую загнало индивида общественное развитие. Единственный совет, который воспитатель способен дать матери, состоит в том, чтобы по возможности вообще не касаться этих вещей. Здесь находит свое выражение вовсе не недостаток благоразумия или закоснелость определенного человека; речь идет не об индивидуальной, но об общественной проблеме. Лишь постепенно, как бы задним числом благоразумие стало подсказывать лучшие методы, как приучить ребенка к сексуальной сдержанности, к регулированию и преобразованию этих влечений,

к обретению чувства неловкости, что было совершенно необходимо для жизни в этом обществе.

Уже фон Раумер прекрасно понимает, что такие области бытия не следует покрывать аурой таинственности, которая “годится лишь на то, чтобы возбуждать любопытство” у детей. Но поскольку в его обществе данные сферы жизни стали “тайными”, то он не мог в своих предписаниях обойти такую необходимость: “Матери следует только раз серьезно сказать: «Ничего хорошего не будет, если ты об этом узнаешь...»” Не “рациональные” мотивы, не соображения целесообразности изначально определяют эту ориентацию, но стыд самих взрослых, ставший их самопринуждением. Именно общественные запреты и сопротивление в недрах души, именно их собственное “сверх-Я” замыкает им уста.

Для Эразма и его современников, как мы видели, еще не стоит проблема просвещения ребенка в области отношений мужчины и женщины. То, что ребенку известна эта сторона жизни, само собой следовало из устройства общественных институтов и характера общения людей, среди которых ребенок растет. Сдержанность взрослых еще не столь велика, а потому не столь высока и стена таинственности, не столь значителен разрыв между тем, что разрешено за кулисами и что на авансцене. Задача воспитателя состояла в том, чтобы в рамках несомненно известного ребенку ориентировать его в правильном или, точнее, желательном для воспитателя направлении. Именно этого Эразм стремится достичь такими диалогами, как разговор девушки и ее ухажера или юноши и распутницы. А успех книги у современников показывает, что Эразм попал в самую точку.

В процессе [движения] цивилизации сексуальное влечение, как и многие другие влечения, начинает подвергаться все более строгому регулированию и преобразованию, и проблема ставится совсем по-другому. Взрослые теперь принуждены интимизировать все, особенно выражения сексуальных влечений. “Завеса молчания”, социогенные ограничения, налагаемые на речь, подозрительность [Belastung] ко всем словам, имеющим отношение к жизни влечений “как символ душевного бремени” [Belastung], – все это окружает подростка достаточно плотной стеной. Проломить эту стену, т.е. осуществить сексуальное просвещение, что однажды становится совершенно необходимым, так трудно не только из-за того, что приходится привести подростка в соответствие со стандартом поведения взрослых на основе влечений и их регулирования, но и ввиду душевной структуры самих *взрослых*, мешающей им говорить о таких тайных вещах. У них в распоряжении часто нет ни подходящих слов, ни подходящего тона. Грязные слова, которые им известны, здесь не годятся. Медицинские термины для многих непривычны. Теоретические рассуждения сами по себе не помогают. Именно социогенные вытеснения оказывают сопротивление речи. Отсюда и следует совет, который дает фон Раумер: по возможности вообще об этом не говорить. Ситуацию обостряет еще и то, что за-

дача кондиционирования, регулирования влечений, а значит, и “просвещения”, по мере исключения выражения влечений и разговоров о них из публичного общения, все более выпадает на долю одних лишь родителей. Различного рода любовные привязанности между матерью, отцом и ребенком усиливают – не всегда, но часто – сопротивление разговорам на эту тему не только со стороны ребенка, но и со стороны отца или матери.

Тем самым ясно, как должен ставиться вопрос о воспитании ребенка: невозможно понять психические проблемы подростков, если наблюдать каждого из них в отдельности, будто во все времена с ними происходит один и тот же процесс, ни от чего более не зависящий. На самом деле проблематика детского осознания влечений и распоряжения влечениями [Triebhaushalt] принимает определенные формы и меняется в зависимости от типа отношений ребенка и взрослого. Но специфическая форма этих отношений в каждом обществе – своя, отвечающая его особенностям. В рыцарском обществе эти отношения одни, в бюргерско-городском – другие, в мирском обществе средневековья они не такие, как в Новое время. Поэтому проблематику, возникающую при адаптации и моделировании [поведения] подростков в соответствии со стандартами взрослых (например, специфические проблемы полового созревания в нашем цивилизованном обществе), можно понять, только исходя из исторической фазы [движения цивилизации], из устройства всего общества, которое устанавливает и поддерживает этот стандарт поведения взрослого и такую особую форму отношений взрослых и детей.

**9.** Точно такую же кривую [движения] цивилизации, какая обнаруживается в вопросе “полового просвещения”, можно продемонстрировать и на примере развития семьи. То, что единобрачие как институт, предназначенный для регулирования половых отношений, господствует на Западе, – это в целом правильно. Но фактическое регулирование и моделирование половых отношений весьма заметно меняется в ходе западной истории. Церковь, конечно, уже с ранних пор боролась за единобрачие. Однако облик строгого, обязательного для обоих полов института оно обрело очень поздно, а именно, лишь в ходе все более строгого регулирования влечений; только тогда внебрачные связи мужчины становятся по-настоящему общественно предосудительными или же изгоняются в область потаенного. На более ранних этапах, в зависимости от общественного соотношения сил обоих полов, по крайней мере, внебрачные связи мужчины, а иногда и женщины воспринимались как нечто само собой разумеющееся. До XVI в. включительно мы часто находим свидетельства того, что в самых почтенных бюргерских семьях законные и внебрачные дети мужа воспитывались вместе, причем и от детей это различие [в происхождении] не скрывали. Мужчине не приходилось в обществе стыдиться своих внебрачных связей. И хотя существовали противоположные

тенденции, еще нередко казалось самоочевидным, что незаконно-рожденные сыновья – это члены семьи, что отец заботится об их будущем, а если это дочери, то устраивает им пышную свадьбу. Но, разумеется, при этом между супругами то и дело возникало “немало недоразумений” (Bezold, 1918, S.159).

На протяжении средних веков положение внебрачного ребенка не было повсюду одинаковым. Однако в течение долгого времени явно отсутствовала тенденция к утаиванию внебрачных связей, которая возникает затем в профессионально-бюргерском обществе вместе с тенденциями к более строгому ограничению сексуальности связью *одного* мужчины и *одной* женщины, более строгому регулированию влечений и более сильному давлению общественных запретов. И здесь нельзя принимать церковные требования за масштаб действительного стандарта мирского общества. Фактически (но не всегда юридически) положение внебрачных детей часто отличалось от положения законных только тем, что внебрачные не наследовали сословное положение отца и его состояние, во всяком случае, не такую часть, как законные. То, что в высших слоях многие четко и гордо называли себя “бастардами”, достаточно хорошо известно (Rudeck, 1897, S.171; Allen, 1914, p.205; Нума, 1930, p.56–57)<sup>5</sup>.

В абсолютистски-придворном обществе XVII–XVIII вв. семья обретает особый характер потому, что самим строением этого общества было до основания впервые поколеблено господство мужчины над женщиной. Социальная сила женщины здесь почти столь же велика, как и мужчины; женщины в весьма значительной мере соопределяют общественное мнение, и если ранее лишь внебрачные отношения мужчины казались обществу легитимными, а таковые у “слабого пола” – более или менее предосудительными, то теперь, в соответствии с изменением соотношения сил между полами в обществе, и внебрачные связи женщины кажутся, в известных границах, общественно легитимными.

Остается только более детально показать, какую решающую роль сыграло обретение социальной власти или, если угодно, эта первая эмансипация женщины придворно-абсолютистского общества в процессе [движения] цивилизации, в повышении порога стыдливости и неловкости, в усилении общественного контроля над индивидом вообще. Социальное восхождение новых общественных групп в процессе обретения власти сделало необходимым новое регулирование влечений для всех, а также усиление сдержанности как бы на среднем уровне: между той, что прежде была обязательна для господ, и той, что требовалась от людей зависимых; точно так же как усиление социальной позиции женщин означало, схематически, ослабление налагаемых на влечения ограничений для женщин и усиле-

<sup>5</sup> См. также: Regnault, 1922. Правда, здесь в большей степени рассматривается юридическое, нежели фактическое, положение бастардов. [...]



ние таковых для мужчин. Одновременно это означало для обоих полов вынужденную необходимость нового и более сильного дисциплинирования своих аффектов при общении друг с другом.

В знаменитом романе мадам де Лафайет “Принцесса Клевская” муж главной героини, знающий о том, что она влюблена в герцога де Немура, говорит следующее\*: “Я не желаю полагаться ни на кого, кроме Вас. Выбрать именно этот путь мне подсказывает сердце, но также и разум. Зная о Вашем расположении духа, *предоставляю Вам свободу, я устанавливаю для Вас границы более тесные, нежели те, что я мог бы Вам предписать*” (цит. по: Parodi, 1921, p.94).

Это – пример своеобразного принуждения к самодисциплине, налагаемого на оба пола такой ситуацией. Мужчина знает, что не может удержать женщину силой. Он не бушует, не кричит из-за того, что его жена любит другого, он также не ссылается на свое право супруга: общественное мнение все это не поддержит. Он сдерживается, говоря ей: я предоставляю тебе свободу, но знаю, что устанавливаю тем самым границы более тесные, чем какие-либо заповеди или предписания. Иными словами, он ждет от нее такого же самоограничения, такой же самодисциплины, какие налагает на себя.

Это – действительно примечательный пример новой констелляции, возникающей ввиду уравнивания общественного положения полов. Конечно, по сути, эту свободу дает своей жене не один только супруг. Ее основой выступает строение самого общества. Но эта свобода требует и нового вида поведения. Она создает весьма специфические конфликты. И, во всяком случае, в этом обществе достаточно женщин, которые пользуются такой свободой. Существует множество свидетельств того, что среди придворной аристократии ограничение половых отношений семьей очень часто воспринималось как буржуазное, не соответствующее [благородному] сословию. Но одновременно это позволяет понять, насколько непосредственно некий вид и специфическое состояние общественной, человеческой связанности отвечает определенной форме свободы.

Малодинамичная речевая форма, от которой мы пока не ушли, противопоставляет свободу и связанность, или принуждение, как небо и преисподнюю. Современность смотрит с близкого расстояния: такие абсолютные антитезы кажутся ей, конечно, очень и очень правильными. Для того, кто живет в темнице, мир за ее стенами – это мир свободы. Но при ближайшем рассмотрении в таком противопоставлении, как и в любом другом, не обнаруживается “просто” свободы, если понимать под ней состояние общественной несвязанности и независимости: есть освобождение от одной формы связанности, которая давит сильно или невыносимо, ради других, которые воспринимаются как менее давящие. И движение цивилизации, преобразование форм, а в некотором отношении и прогресс стесне-

\* В оригинале по-французски.– *Прим. пер.*

ний, которым подвержена аффектуальная жизнь людей, идет рука об руку с разнообразным освобождением.

Один из примеров – форма семьи при абсолютистских дворах, с их одинаковым устройством жилых и спальных помещений для мужчины и женщины в замках придворной аристократии. Женщина была там более свободна от внешнего принуждения, чем в рыцарском обществе. Но внутреннее принуждение, самопринуждение, которому она должна была подвергать себя в соответствии с формой интеграции и кодом поведения придворного общества, самопринуждение, которое возникло из тех же особенностей построения общества, что и ее “освобождение”, по сравнению с рыцарским обществом увеличилось, как, впрочем, и для мужчины.

Нечто сходное обнаруживается и в том случае, если сравнивают буржуазную семью XIX в. с придворно-аристократической семьей XVII–XVIII вв.

Буржуазия как целое освобождается в то время от давления абсолютистски-сословной конституции общества. Буржуа – как мужчины, так и женщины – теперь избавлены от всех внешних принуждений, которым они подвергались в сословном обществе как люди второго сорта. Однако они куда больше, нежели прежде, впутаны переплетением своих денежных и торговых дел, прогресс которых и дал им достаточно сил для освобождения. В этом плане и общественная связанность отдельного человека стала большей, чем прежде. Схема самопринуждений, налагаемая на людей буржуазного общества их профессиональной деятельностью, во многих аспектах отлична от схемы, по которой придворные функции моделируют распоряжение влечениями. Но что касается многих сторон управления аффектами, то самопринуждение, которое требовалось и производилось буржуазными функциями, было куда сильнее того принуждения, которого требовали функции придворные. Почему состояние общественного развития, точнее говоря, почему профессиональный труд, который с подъемом буржуазии становится всеобщей формой жизни, сделал необходимым особенно строгое дисциплинирование сексуальности – отдельный вопрос. Мы должны оставить в стороне линии сопряжения между специфическим моделированием распоряжения влечениями и строением общества в XIX в. Во всяком случае, регулирование сексуальности и господствующая в придворном обществе форма семьи по стандартам буржуазного общества являют собой необыкновенную распущенность. Теперь общественное мнение очень строго осуждает внебрачные связи обоих полов; однако, в отличие от придворного общества, здесь поначалу общественная роль мужчины выше, чем женщины, поэтому нарушение табу на внебрачные связи со стороны мужчины оценивается куда снисходительнее, чем соответствующие проступки женщины. Тем не менее оба нарушения теперь должны быть полностью исключены из официальной, общественной жизни: в отличие от придворного общества их следует переместить за кулисы, строго сохраняя в области потаенного.

А это, разумеется, лишь один из примеров усиления сдержанности, самопринуждений, которым теперь подвергает себя индивид.

**10.** Движение цивилизации идет отнюдь не по прямой линии. Можно, как это и было сделано выше, вычленив общую тенденцию изменений. Но на пути цивилизации немало разнообразных движений вперед и назад, вправо и влево. Если же посмотреть на это движение в более широкой временной перспективе, то ясно видно, как роль принуждения, опирающегося на угрозу оружием, на военное и физическое превосходство, постепенно уменьшается, а формы зависимости, которые приводят к упорядочиванию или регулированию аффективной жизни в форме самодисциплины, “self control”\*, короче говоря, самопринуждения, – усиливаются.

Эта линия изменения оказывается кратчайшей прямой, если мы посмотрим на мужчин, принадлежащих к тому слою, который в данный момент является высшим, т.е. слою, образованному воинами (рыцарями, как мы их называем), затем придворными и, наконец, профессионально работающими буржуа. Если рассмотреть всю многослойную ткань исторического процесса, то обнаружится, что это движение гораздо более сложно. На каждом этапе есть многочисленные колебания, часто встречаются усиление или спад внутренних и внешних стеснений. А наблюдение таких колебаний, особенно с близкого расстояния, в перспективе своей эпохи, быстро туманит взор, мешая увидеть общую тенденцию движения. Одно из таких изменений силы стеснений, которым подвержена основанная на влечениях жизнь индивида (особенно отношения между мужчиной и женщиной), сегодня у всех на слуху: считается, что в послевоенную эпоху, сравнительно с эпохой довоенной\*\*, распространилось то, что называют “более свободными нравами”. Некоторые стеснения, которым было подвержено поведение до войны, теперь ослабли или вовсе исчезли. Многие вещи, которые прежде были запрещены, теперь разрешены. И движение, если рассматривать его вблизи, выглядит так, как будто оно происходило в направлении, обратном представленному здесь. Возникает впечатление, что оно ведет к ослаблению стеснений, которым подвергает индивида общественная жизнь.

Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что речь идет лишь о небольшом спаде, об одном из тех мельчайших движений, которые снова и снова возникают в многослойности исторических движений на каждой ступени более обширного процесса.

Приведем хотя бы пример нравов, касающихся купания. Действительно, немислимо, чтобы в XIX в. женщина публично носила бы один из таких купальных костюмов, какие сегодня совершенно обычны, не становясь при этом объектом общественного осуждения. Однако

\* Самоконтроля (англ.). – Прим. пер.

\*\* Имеется в виду первая мировая война. – Прим. пер.

предпосылкой этих изменений, а вместе с ними и распространения спорта среди мужчин и женщин является весьма высокий стандарт связанности влечений. Только в обществе, где высокая степень сдержанности стала чем-то само собой разумеющимся и где женщины, как и мужчины, абсолютно уверены, что сильное самопринуждение и строгий этикет обхождения заставят каждого индивида держаться в рамках, могли развиваться купальные и спортивные обычаи такого рода и – сравнительно с предшествующими этапами – такой свободы. Но это ослабление сдерживающих моментов в полной мере остается в рамках определенного “цивилизованного” стандартного поведения, т.е. в рамках автоматического, в высокой степени доведенного муштрой до привычки стеснения и преобразования аффектов.

В наше же время обнаруживаются и предвестники перехода к воспитанию\* новых и более жестких стеснений влечений: в ряде обществ мы находим попытки социальной регуляции и управления аффектами, попытки столь интенсивные и осознанные, что они, судя по всему, далеко выходят за пределы господствующего до сих пор стандарта. Индивид принуждается, в том числе и через модельную схему, к отречению от них и преобразованию влечений в таких масштабах, что последствия для всего облика [Habitus] человека становятся необозримы.

**11.** Однако, как бы это ни выглядело в частности, при рассмотрении этих движений – вправо-влево, вверх-вниз, стеснения и высвобождения – вблизи направление общего движения (покуда оно еще вообще поддается обозрению) остается одним и тем же, какой бы род выражения влечений мы ни рассматривали.

Кривая цивилизационного изменения полового влечения идет параллельно кривым других выражений влечений, каковы бы ни были, в частности, социогенетические различия. И здесь тоже, если сравнивать с тем, как обстоит дело с мужчинами высших слоев, регулирование становится все более жестким. И эта форма влечения тоже постепенно все сильнее отодвигается на задний план, выводится из публичной жизни общества. Растет и сдержанность, необходимая по отношению к этой форме влечения в разговорах. Как и всякая сдержанность, эта все меньше обуславливается внешним физическим принуждением; она воспитывается [wird angezuchtet] у индивида с малолетства как самопринуждение, как автоматически действующая привычка – строением общественной жизни, давлением социальных институтов вообще и определенными общественными исполнительными органами в частности, и прежде всего семьей. Общественные заповеди и запреты [Gebote und Verbote] тем самым все более настойчиво становятся частью его самости, жестко отрегулированным “сверх-Я”.

---

\* Элиас говорит “Zuchtung”, что буквально означает “разведение”, “выведение”, скажем, скота; это слово родственно слову “Zucht” – “жесткая дисциплина”, “муштра”, слову “zuchtigen” – карать, наказывать, откуда, например, и “Zuchthaus” – “рабочий дом”. – *Прим. пер.*

Как и многие другие выражения влечений, сексуальность не только для женщины, но и для мужчины оказывается все более ограниченной определенным анклавом – общественно легитимированным браком. Половинчатая или полная легитимация общественным мнением других связей – относительно мужчины или женщины (в чем ранее отнюдь не было недостатка) – все более и более отодвигается на задний план (хотя случалось и обратное движение). Всякое нарушение таких ограничений, все, что этому служит, принадлежит к сфере должностующего быть потаенным – того, о чем не говорят, о чем нельзя говорить без ущерба для престижа или социального статуса.

И как малая семья вначале очень постепенно становится для мужчины и женщины единственным легитимным анклавом сексуальности и интимных отправлений вообще, так же, очень нескоро, она становится первичным для всего общества органом воспитания общественно требуемых привычек влечения и способов поведения подростка. Пока степень сдержанности и интимизации еще не столь велика, а вычленение основанной на влечениях жизни из социального общения не столь строго, задача начального кондиционирования еще не в такой большой мере выпадает на долю отца и матери. Все люди, с которыми соприкасается ребенок (а их зачастую множество), пока интимизация еще не зашла так далеко, пока дом еще не отгорожен от внешнего мира, принимают в этом участие, не говоря уже о том, что раньше сама семья (а в более высоких слоях и прислуга) была, как правило, многочисленней. Обычно здесь более откровенно говорят о различных сторонах основанной на влечениях жизни, более открыто поддаваясь своим аффектам как в разговорах, так и в поведении. Бремя стыда, в том числе и в отношении сексуальности, еще не так велико. Именно это делает цитированное выше воспитательное сочинение Эразма таким трудным для понимания педагогом позднейшего времени. Именно так и происходит воспроизводство общественных привычек у ребенка, кондиционирование: не исключительно в некоем особом пространстве и как бы за закрытыми дверями, но куда более непосредственно, в социальном общении. Почитайте-ка дневник врача Жана Эроара (это весьма типичный для высшего слоя пример иного рода кондиционирования), в котором день за днем, час за часом описывается, как подрастает будущий король Людовик XIII, что он делает и что говорит.

Не обходится здесь и без известного привкуса парадоксальности: чем больше преобразование, упорядочивание, сдерживание и утаивание жизни влечений, требуемое от индивида обществом, и чем, соответственно, труднее кондиционирование подрастающего ребенка, тем сильнее задача первоначального воспитания этих общественно необходимых привычек влечения концентрируется в интимном кругу семьи, т.е. у отца и матери. Конечно, кондиционирование (его механизм) по существу своему вряд ли совершается иначе, чем в эпоху более раннюю. Не благодаря более детальному обзору задач и более сознательно-му планированию, с учетом особых качеств и положения ребенка, но

преимущественно автоматически и в некоторой степени посредством рефлексов. Социогенные фигуры влечений и привычки родителей запускают в действие фигуры влечений и привычки ребенка, которые могут быть однонаправленными или разнонаправленными с родительскими, желанными и предусмотренными в соответствии с их собственным кондиционированием.

Иными словами, переплетение привычек родителей и детей, при котором распоряжение влечениями ребенка постепенно моделируется, обретает свой характер, в наименьшей степени определяется “рациональным” образом. Формы поведения и слова, значения которых обременены для родителей ощущениями стыда и неловкости, очень скоро, благодаря выражению неудовольствия с их стороны, громкому или тихому давлению, получают в какой-то форме такую же нагрузку и у детей. Так в детях постепенно и воспроизводится общественный стандарт ощущения стыда, но подобный стандарт одновременно образует основу и рамки множества разнообразных индивидуальных форм влечений. А то, как конкретно оформляются в этом беспрепятственном общественном переплетении родительских и детских аффектов, привычек и реакций влечения подрастающего человека, родители не способны сегодня обзреть и просчитать.

**12.** Движение цивилизации в направлении все большей и совершенной интимизации всех телесных функций, заключения их в рамки определенных анклавов, перемещения “за закрытые двери” имеет весьма разнообразные последствия. Одно из важнейших (оно уже оказывалось очевидным в ситуациях с некоторыми другими формами влечений) особенно ясно обнаруживается в случае с кривой цивилизационного изменения половой жизни. Речь идет о расщепленности человека, которая выступает тем сильнее, чем более значительной становится разорванность разных сторон человеческой жизни: тех, что можно наблюдать публично, т.е. в социальном общении людей, и тех, видеть которые не дозволено, которые должны оставаться “интимными” или “тайными”. Сексуальность, как и все другие естественные функции человека, – одно из тех явлений, о которых известно каждому, которые имеют место в жизни любого человека. Мы показали, как все они постепенно оказались нагружены социогенными чувствами стыда и неловкости, так что даже разговор о них в обществе все больше стесняется множеством правил и запретов; сами функции, как и всякое о них упоминание, люди все больше и больше скрывают друг от друга. Где это невозможно (например, при заключении брака, на свадьбах), там со стыдом, неловкостью, страхом – в общем, с любыми эмоциями, которые сопрягаются с этими силами влечений человеческой жизни, – справляются благодаря точно разработанному общественному ритуалу и определенным речевым формулам, скрывающим [происходящее] и поддерживающим стандарт стыда. Иными словами, в процессе [движения] цивилизации в жизни людей все больше расходятся

интимная, или потаенная, и общественная сферы, тайное поведение и общественное поведение. И этот разрыв становится для человека столь самоочевидным, таким вынужденно привычным, что уже едва ли осознается вообще.

Соответственно этому усиливающемуся разделению поведения на общественно разрешенное и общественно неразрешенное перестраивается и психическая структура человека. Поддерживаемые общественными санкциями запреты воспитываются в индивиде как самопринуждения. Принужденность сдерживать выражения влечений и социогенный стыд, в который они облечены, становятся привычкой настолько, что человек не может бороться с ними, даже будучи один, в интимной обстановке. Выражения влечений, обещающие удовольствие, борются в нем самом с запретами и ограничениями, обещающими неудовольствие, с социогенными чувствами стыда и неловкости.

Именно это положение дел, как уже было сказано, Фрейд пытается выразить при помощи понятий “сверх-Я” и “бессознательное” (“в обиходе” это довольно точно называют “подсознанием”). Но как это ни называть, общественный код поведения в той или иной форме так отпечатывается в каждом человеке, что в некоторой мере становится конститутивным элементом индивидуальной самости. А этот элемент, сверх-Я, равно как и психическое строение и индивидуальная самость в целом, необходимым образом меняется, всегда соответствуя общественному коду поведения и строению общества.

Относительно высокая степень разорванности “Я”, или сознания, которая характерна для людей на нынешнем этапе цивилизации и которая выражается в таких понятиях, как “сверх-Я” и “подсознание”, соответствует специфической двойственности поведения, к которой принуждает жизнь в цивилизованном обществе. Все это соответствует той степени отрегулированности и замалчивания, которым подвержены здесь выражения влечений в общении людей. Начатки такой регуляции, видимо, возникают вместе с общественной жизнью, в любой ее форме, в том числе и той, которую мы называем “примитивной”. Однако интенсивность, которой здесь достигает эта дифференциация, облик, в каком она выступает, — это отражение определенного исторического процесса, итоги движения цивилизации.

Именно это мы и хотели объяснить, говоря о постоянном соответствии строения общества и строения отдельного “Я”.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Монтень М.** Опыты. Пер. с фр. М.: Наука, 1979.
- Эразм Роттердамский.** Разговоры запросто. М.: Художественная литература, 1969.
- Allen P.S.** The Age of Erasmus. Oxford, 1914.
- Bauer M.** Liebesleben in der deutschen Vergangenheit. Berlin, 1924.
- Bezold F. von.** Ein Kölner Gedenkbuch des XVI. Jahrhunderts. In: Aus Mittelalter und Renaissance. München; Berlin, 1918.

- Bömer A.** Aus dem Kampf gegen die Colloquia familiaria des Erasmus // Archiv für Kulturgeschichte, 1911. Bd. IX, Nr.1.
- Furnivall Fr.J. (ed.).** Early English Text Society. Orig. Series, 108. London, 1897.
- Ginsberg M.** Sociology. London, 1934.
- Huizinga J.** Erasmus. New York; London, 1924.
- Hyma A.** The Youth of Erasmus. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1930.
- Köbner R.** Die Eheauffassung des ausgehenden Mittelalters //Archiv für Kulturgeschichte, 1911, Bd. IX, H.2.
- Laborde.** Le Palais Mazarin. Paris, 1816.
- Parodi D.** L'honnête homme et l'idéal moral du XVII<sup>e</sup> et du XVIII<sup>e</sup> siècles //Revue Pédagogique, 1921.
- Raumer F. von.** Geschichte der Pädagogik. Stuttgart, 1857.
- Regnault.** La condition juridique du bastart au moyen âge. Pont Audemer, 1922.
- Rudeck W.** Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland. Jena, 1897.
- Schäfer K.** Wie man früher heiratete // Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, 1891, Bd. 2, H.1.
- Schultz A.** Deutsches Leben im XIV. und XV. Jahrhundert. Wien, 1892.
- Zarncke F.** Die deutsche Universität im Mittelalter. Leipzig, 1857.